

**А. Белый**

# **Между двух революций**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 93  
ББК 63.3  
А11

А11 **А. Белый**  
Между двух революций / А. Белый – М.: Книга по Требованию, 2015. –  
452 с.

**ISBN 978-5-458-52394-3**

Цикл воспоминаний Андрея Белого, создававшийся в конце 1920-х - начале 1930-х гг., по праву принадлежит к числу наиболее известных и наиболее ценимых произведений крупнейшего мастера русского символизма. Эти три книги в равной мере значительны и как художественное слово, и как исторический источник: будучи ярким образцом мастерства Белого-прозаика, они содержат богатый и выразительно интерпретированный материал об эпохе, охватывающей около тридцати лет исторической, культурной и бытовой жизни России. "На рубеже двух столетий", "Начало века" и "Между двух революций" - лучшее, что написано Белым после "Петербурга", - утверждает автор первой советской книги о Белом Л. К. Долгополов.

**ISBN 978-5-458-52394-3**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2015

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2015

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

[www.samizday.ru/reprint](http://www.samizday.ru/reprint)



## Глава первая

### ИЗ ВИХРЯ В ВИХРЬ

---

#### О СЕБЕ

Из этого тома воспоминаний я, автор, не выключаем; не выдержан тон беспристрастия; не претендую на объективность, хотя иные части воспоминаний несу в себе как отделившиеся от меня; относительно них я себе вижу с крючником, находящим в бурьяне гипсовые куски разбитого силуэта: «Вот он — нос «Белого», разбитый в 1906 году: неприятный нос!.. А вот его горб». Самосознание напряженно работает над причинами собственных крахов; в анализе я могу ошибаться; например, *степень* гнева в полемике против Блока, Чулкова и Городецкого — зависела от искривления жестов; но что я был прав в принципе, руководившем полемикой, — за это держусь.

Лет через двадцать придут и скажут: «Горб Белого 1905 года остался у Белого 1932 года: в его суждении о горбе».

Так обстоит дело с кусками воспоминаний, которые видятся объективно; что же сказать о других, которые еще в растворе сознания и не осели осадком? Так: образу Александра Блока 1905—1908 годов противостоит сознанием отработанный образ благородного друга, помощника: в начале знакомства, в конце знакомства; образ же Блока эпохи ссор я не могу во имя хотя бы самоунижения из донкихотства вычистить, чтобы он блестел, как самовар.

Воспоминания, напечатанные в берлинском журнале «Эпопея» № 1—4 в 1921—1922 годах, продиктованы горем утраты близкого человека; в них образ «серого» Блока произвольно мной вычищен: себе на голову;<sup>1</sup> чтобы блистал Блок, я вынужден был на себя натянуть колпак; не могу не винить себя за «фальшь из ложного благородства».

Вторично возвращаясь к воспоминаниям о Блоке, стараюсь исправить я промах романтики первого опыта, «вспоминать» в сторону реализма; может быть, — и тут я не попал в цель; Блок 1906 года «не готов» в моей памяти; а как его выкинуть, коли он вплетен в биографию?

Начинаю со слов о Блоке и с того, с чем Блок того времени связан; капризные ассоциации в жизни каждого не поддаются учету; у Шиллера вдохновение связалось с запахом яблок; он клал их перед собою во время работы. Так: ссора с Блоком связана мне с темой революции, с мыслями о всякого рода террористических актах, — не потому, что и Блок сочувствовал революции; не ассоциация сходства, а противоположность мне сплела обе темы.

Революция и Блок в моих фантазиях — обратно пропорциональны друг другу; по мере отхода от Блока переполнялся я социальным протестом; эпоха писем друг к другу совпала с сочувствием (и только) радикальным манифестациям; в миги, когда заронялись искры того, что привело к разрыву с поэтом, был убит Плеве и бомбой разорвали великого князя Сергея;<sup>2</sup> в момент первого столкновения с Блоком вспыхнуло восстание на броненосце «Потемкине»;<sup>3</sup> я стал отдаваться беседам с социал-демократами, строя на них свой социальный ритм (ориентация Блока ж — эсеровская); в период явного разрыва с поэтом я — уже сторонник террористических актов.

Не был я, — черт возьми, — идиотом, чтобы отношение к революции измеривать «Блоками»; наоборот: кипение чувств и стихийная вовлеченность в события жизни Москвы (забастовка, митинги, задуманный бойкот офицеров, осада университета и т. д.) приподняли и тонус гнева на «косность» в Блоке, видившемся мне «тюком», переполненным всяческими традициями неизжитого барства; этот «тюк» я хотел с дороги убрать.

Революция связалась мне с Блоком не более, чем яблоко с поэзией; яблоки поэта вдохновляли к стихам; гнев же на Блока вдохновлял меня к выпадам против строя; я себе говорил: в каждом — неизжитой «мещанин», в которого надо лупить бомбами; «мещанина» в себе силится я уничтожить; Блок же его питал сладостями (в моем представлении): поклонением мамы и тетушки.

Подлинные мотивы поведения изживали себя в кривых жестах.

Чтобы понять меня в тот период, следовало бы знать условия моего детства, описанные в книге «На рубеже», и условия детства Блока, поданные книгой тетушки его\* марципановыми бомбошками в опрятенькой бонбоньерочке; «Боренька» рос «гадким утенком»; «Сашенька» — «лебеденочком»; из «Бореньки» выколотили все жесты; в «Сашеньке» выращивали каждый «пик»; искусственно сделанный «Боренька» прошелся-таки по жизни «Андрея Белого»; прошелся-таки «самодур» по жизни Александра Блока; «Сашеньку» улаживали до ...поощрения в нем вспышек чувственности; «Боренька» до того жил в отказе от себя, что вынужден был года подставлять фабрикаты «паиньки» — отцу, «ребенка» — матери, так боявшейся «развития»; косноязычный, немой, перепуганный, выглядывал «Боренька» из «ребенка» и «паиньки»; не то чтобы он не имел жестов: он их переводил на «чужие», утрачивая и жест и язык; философией младенца стало изречение Тютчева: мысль изреченная есть ложь;<sup>5</sup> от «Саши» мысли не требовали; поклонялись мудрости его всякого «вяка».

Свои слова обрел Боренька у символистов, когда ему стукнуло уж шестнадцать — семнадцать лет (вместе с пробивавшимся усиком); этими словами украдкой пописывал он; вместе с мундиром студента одел он, как броню, защищавшую «свой» язык, термины Канта, Шопенгауэра, Гегеля, Соловьева; на языке терминов, как на велосипеде, катил он по жизни; своей же походки — не было и тогда, когда кончик языка, просунутый в «Симфонии», сделал его «Андреем Белым», отдавшимися беспрерывной лекции в кругу друзей, считавших его теоретиком; «говорун» жарил на «велосипеде» из терминов; когда же с него он слезал, то делался безглагольным и перепуганным, каким был он в детстве; великолепно поэтому он различал все оттенки терминологии («трансцендентный» не «трансцендентальный»); говорить же просто конфузился, боясь вскриков: «Чушь, Боренька, по-решь!»

«Сашенька» до такой степени был беззастенчив в выборе слов и столь презирал «термины», что называл Анну Ивановну Менделееву — «субстанцией»; и о «субстанции» в спиновском смысле спорил с С. М. Соловьевым, который мне с ужасом об этом и сообщил.

---

\* Биография Блока, написанная М. А. Бекетовой<sup>4</sup>.

Ясно: объяснение «Бореньки» с «Сашей» (от «термина» и от субъективнейшего «злоупотребления» им) могло привести лишь к ссоре.

В каждом назрела своя трагедия; трагедия Блока — столкновение его «вяка» с жизнью, читаемой в точных терминах, мое ж желание — насильственно одеть в термин и «лепетанье» парок; «Весы», Мережковские, Астровы, «аргонавты» требовали рефератов, рецензий, полемик и прений — без передышки, без отдыха; я в поте лица трудился над комбинатами терминов; и тщетно тщился вывести из них понятие «нового быта» и «царства свободы»; меня разрезали «ножницы» меж отвлеченным словом и жизнью в поступках, осознанных точно; из тщеты слов переживал себя в «молча кивающей» тишине, не умея сказать: словами жизни; чувствовать себя живым, молодым и сильным, и не уметь сказать, — какая мука! Терминология, точно шкура убитого Несса, прилипнувши, жгла;<sup>6</sup> я — сдирал ее; с нею сдиралось и мясо.

«Боренька», сперва молчавший, потом затрещавший терминами, — не выросший «Боренька»; «Андрей Белый» — фикция; Блок первый отметил это; в ответ на посылку ему книги «Возврат» он писал: «мальчик»-де мальчику прислал к елке подарок<sup>7</sup>.

Стремление выявить жест без единого «термина» — моя дружба с Сережей\*, дружба традиций детства, сказок и игр: пятнадцатилетнего отрока, утаившего «развитие», с преждевременно развитым ребенком; оба выработали тогда свой язык, разделенный родителями Сережи, развиваемый и позднее: студенты, оставаясь вдвоем, продолжали быть «Борей» с «Сережей»; последний знал тихим меня; я ж умел читать его жесты; оба тянулись друг к другу в том, чего не могли обнаружить при слишком «умных».

Многое из того, что теоретизировал я, было пережито с Сережей, который иначе оформил общие нам факты сознания; ему были чужды: Кант, естествознание, теория символизма; я ж игнорировал теократию, философию обоих князей Трубецких и иные из теорий Владимира Соловьева; общее в нас: Сережа строил «теории» над опытом, в котором играли роль родители, бабушка, Поливанов, дядя-философ, учитель латинского языка Павликовский, его кошмар детства; но эти лица заняли видную

---

\* С. М. Соловьев, в доме родителей которого я обрел речь: см. мои книги «На рубеже» и «Начало века».

роль и в опыте моей жизни; идеологии наши были весьма различны; почва их — общая.

В детстве мы были «двошками»; такими ж явились позднее для Блока, троюродного брата Сережи, читвшего его родителей, дядю-философа и воспринявшего «Симфонию» как нечто, исшедшее «от Соловьевых». Сережа в стихах кузена увидел лишь новый этап поэзии дяди, которую боготворил; отсюда — культ «поэта», родственника, связанного с родителями;<sup>8</sup> мать Блока чтит его родителей; а бабушка чтит дедушку Блока, А. Н. Бекова.

Все нас друг к другу притягивало; С. М. Соловьев даже когда-то мечтал об общей коммуне; были ж коммуны толстовцев; мечтал же Мишель Бакунин о коммуне из братьев и сестер.

Казалось: в 1904 году Шахматово еще тесней нас связало; в 1905 году каждый, переживая рубеж, хотел встречи друг с другом: в Шахматове для меня кончалась эпоха «Симфоний» (я писал «Пепел»); для Блока — стихов о «Даме»; Сережа же поворачивался от Владимира Соловьева к Ницше, от теологии — к филологии, от мистики — к народу.

Было решено: в июле Сережа и я едем в Шахматово<sup>9</sup> — увидеть: соединяют ли нас и наши «кризисы»?

Хотелось и просто втроем помолчать: без слов.

Волей судьбы: не Шахматово, а кусочек дедовской жизни был коротеньким отдыхом перед долгою бурей.

## ДЕДОВО

В Дедове летами я читал классиков и собирал материал для романа «Серебряный голубь»; оно ж стало местом душевных мучений; Дедово — именице детской писательницы, Александры Григорьевны Коваленской, Сережиной бабки (по матери).

В одноэтажном серявеньком флигельке проживали родители моего друга; сюда я наезживал веснами еще гимназистом:<sup>10</sup> в уют комнатухе, обставленных шкафами с энциклопедистами, масонскими томиками, с Ронсаром, Раканом, Малербом и прочими старыми поэтами Франции; несколько старых кресел, букетов и тряпок, разбросанных ярко, ряд мольбертов Ольги Михайловны Соловьевой, ее пейзажи, огромное ложноклассическое полотно, изображающее похищение Андромеды<sup>11</sup>, мне обрамляли

покойного Михаила Сергеевича Соловьева, уютно клевавшего носом с дымком: из качалки.

В высоких охотничьих сапогах, в летнем белом костюме, он все-то вскапывал заступом околотеррасные гряды, пока О. М., перевязав волосы лентой, в черном капотике копошилась при листах своего перевода, брошенных на столик; мы, два юнца, рассуждали о Фете; из-за перил клонились кисти соцветий и яркоцветных кустарников; по краям дорожки, бегущей с террасы, зеленели высадки белых колокольчиков, перевезенных из Пустынки:\* им Владимир Соловьев посвятил перед смертью стихи:

В грозные, знойные  
Душные дни,—  
Белые, стройные,  
Те же они<sup>12</sup>.

Белые колокольчики расцветали в июле; на розовой вечерней заре, сидя над ними, отдавались воспоминаниям.

К семейным воспоминаниям была приобщена серая огромных размеров крылатка философа, вытащенная из дедовского ларя; по вечерам в нее облекался я; в этой серой крылатке покойник бродил по ливийской пустыне<sup>13</sup> — в ночь, когда сочинил: «Заранее над смертью торжествуя и цепь времен любовью одолев, Подруга Юная, тебя не назову я, но ты услышь мой трепетный напев»;<sup>14</sup> утром два шейха арестовали его, приняв за *шайтана* (черта)<sup>15</sup>.

«Подруга», муза философа, была «Мета» (*мета-физика*); «подругою» ж Блока казалась «Люба» (жена поэта), которую он наделил атрибутами философской «Премудрости»; и пошучивал я, облеченный в крылатку: крылатка — Пегас, на котором покойный философ, слетавши в Египет, изрек имя музыки; она оказалась девою, Метой, — не дамою, Любой, с вещественной физикой, но... без метафизики.

Когда же впоследствии оказалось, что физика музыки Блока не «Люба», а незнакомая дама с Елагина острова, его вдохновившая к винопитию\*\*, то Сережа, сжав кулаки, слетал не раз со ступенек террасы над «белыми колокольчиками» — отмахивать по полям километры в смазных

---

\* Имение друга философа Соловьева, С. П. Хитрово, а прежде — имение поэта Алексея Толстого.

\*\* См. стихотворение «Незнакомка», в котором пьяницы кричат: «In vino veritas»<sup>16</sup>.

сапогах; и красная рубаха его маячила в зелени; он не находил слов, чтоб выразить гнев на узурпацию Блоком патента на музу «дяди».

Многими воспоминаниями живо мне Дедово.

В 1898 году я здесь был крещен в поэзию Фета, слетев ненароком с развесистой ивы в пруд, — дважды (едва ли не с Фетом в руках); а в 1901 году, в мае месяце, меж двух экзаменов, я был крещен М. С. Соловьевым в *Андрея Белого*;\* Дедово стало — литературною родиной; впоследствии А. Г. Коваленская сказала: «Добро пожаловать к нам»; с тех пор я почти не жил в имении матери<sup>17</sup>, деля в Дедове с моим другом досуги.

Дедово — в восьми верстах от станции Крюково (Октябрьской дороги);<sup>18</sup> два заросших лесами имения, Хованское с Петровским, прилегают к нему; в одном из трех флигельков, деревянных, одноэтажных, расположенных вокруг главного, желтого деревянного дома, принадлежавшего «бабушке», проживали с Сережею мы; он был крайний к проезжей дороге, отделенный забориком от нее и зарастающими цветами; неподалеку от него выглядывал крышей и окнами флигель В. М. Коваленского, приват-доцента механики, дяди Сережи; там шла своя жизнь, на нас непохожая: чувствовалась пикировка двух бытов при внешне «добром» сожительстве, усиленно налаживаемом Сережей; все-то он завешивался от Коваленских точно ковром, на котором изображались пастушеские пасторали; «пастух», Виктор Михайлович, летами забывал курс начертательной геометрии, тыкая пальцем в пианино и оглашая цветник все теми ж звуками: «Я страаа-жду... Душаа истаа-мии-лась...»<sup>19</sup> Все-то томился этот доцент с лицом старого фавна; виделась и головка «пастушки», дочки его, Марьи Викторовны, переводившей Гансена, любившей поговорить о творчестве ббб норвежских писателей (имя им — легион); вокруг порхало два пухлогубых «зефирика», Лиза и Саша, дети В. М.; мать их имела вид отоцавшей «Помоны», дарившей Сережу улыбками «не без яда» и яблоком «не без червя»; так выглядели обитатели флигелька в Сережином воображеньи, соткавшем ему из его мифа ковер; бывали минуты, когда казалось ему: из трещин ковра струятся в нашу сторону яд без улыбки и черви без яблока.

Быт Соловьевых — безбытный; быт Коваленских — тяжеловат, угловат (углы — с острями).

\* См. «Начало века», глава вторая.

Третий флигель чаще всего пустовал; принадлежал он Николаю Михайловичу Коваленскому, председателю Виленской судебной палаты, приезжавшему в Дедово на отпуск; в нем ночевал Эллис в своих наездах на Дедово; Н. М. родители Сережи как-то чуждались; отчуждение переносилось на бабушку, защищавшую Н. М. миной: «Тишь, гладь, благодать»; а были — «бедны», кажется, нарытые дядюшкой.

Флигельки выходили террасами к клумбе, перед которой тряслась сутуленькая «бабуся», маленькая и черненькая, с чопорно-сладким выражением — не лица, а — раз навсегда вытканного на ковре герба; герб изображал «идиллию над беднами».

За главным домом был склон к обсаженному березой и ивою позеленевшему пруду; склон был сырой, заросший деревьями, травами и цветами; веснами здесь цвели незабудки; и пахло ландышами; в июне дурманила «ночная красавица»; с трех сторон пруд обходил вал, в деревьях; с четвертой стороны близились домики Дедова; цветистые девки ходили купаться в пруд; в близлежащем кустарнике, в фантазии Сережи, залегал дядя-доцент, наслаждаясь формами граций.

— «Впрочем, Боря, — это лишь миф, построенный на основании кем-то в кустах вытопанной травы».

С вала виделся луг с прилегающим лесом; и — крюковская дорога.

С противоположной стороны, вид на которую открывали окна нашего домика, за проезжей дорогой, был луг, проколосившийся злаками и окаймленный белыми стволками грациозных, легких березовых куп; впереди он обрывался кустом, переходящим в темную рощу; она закрывала село Надовражино, куда мы шагали после вечернего чая, украшенного «семейным гербом», земляникой и сливками; здесь, в Надовражине, в крестьянском домике, обитали три сестры Любимовы; у них мы распевали народные песни и поминали «нечистого»; раздавались едкие замечания по адресу Коваленских, после чего из папиросного дыма затягивали: «Вы жертвою пали»;<sup>20</sup> мы и сестры Любимовы ниспровергали власть: бар и помещиков.

Вот обстановка, в которую летом я попадал каждый год, пока события личной жизни не удалили меня из Дедова, куда я вернулся лишь в 1917 году, чтоб с ним проститься<sup>21</sup>. Здесь был замкнутый круг, ничем не напоминающий московскую жизнь; жил, точно в сказке, в жизни друга, становясь порой ухом и глазом; Сережа передавал

мне свои семейные «тайны»; из слов его возникал мир, более интересный и более жуткий, чем роман с «привидениями»; в нем Эдгар По сочетался со «старухой» Эркмана-Шатриана;<sup>22</sup> здесь изучал я падение одного рода; и, когда возвращался в Москву, мне казалось, что я проснулся и Дедово привиделось мне.

### АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА КОВАЛЕНСКАЯ

Дедовский церемониймейстер, «бабуся», просунулась в отрочество с 1896 года сказочною старушкой, выставив тоненький, крючковатый носик из-за розового куста: «Пойдем, мальчик, за мною: в мой пряничный домик!» Я был шестиклассник; родители моего друга уехали за границу; в квартиру их, к внучку, переселилась «бабуся»; и каждый вечер сидели мы за чайным столом, журча о Жуковском, Ундиночке, дядюшке Струе;<sup>23</sup> из-под самоварного крана вытрясывалась черная, кружевная наколка сутуловатой «бабуси», срывавшей звук золотой арфы;<sup>24</sup> в егозящих ее глазенках, — черненьких, остреньких, — прыскали искорки; охватывали переживания младенческих лет и строчки Уланда, Эйхендорфа, Гейне, переданные Раисой Ивановной, гувернанткой, — четырехлетнему, мне.

Ежевечернее трио нарушалось явлением из Трубицына розовой, седоволосой старушки, второй «бабушки», Софьи Григорьевны Карелиной, таявшей, как и мы, от Жуковского; она была веселее и проще сестрицы, вытрясываясь грубоватыми шутками о собственных курах. Карелина впоследствии пленялась стихами троюродного внука, Саши Блока; а Коваленская в пику ей все похваливала меня и таяла от стихов Эллиса; Карелина любила браки и всякую плоть; Коваленская кривилась при упоминаньи о плоти; сжав пальцы пальцами, откидывалась она в спинку кресла; всякая уютность слетала; она делалась лихою старушкою.

Бледная как смерть, с черными, как булавки, глазами, без сединок в четком проборике черных волос, Коваленская виделась мне лет пятнадцать в том же черном шелковом платье с пелеринками, плещущими, как вороньи крылья; и лет пятнадцать передо мною промоталась прядями пестрых капотов старушка Карелина: плотноватая, твякающая, вся серебряная, она шурилась добрыми, лучистыми, голубыми глазами.

Два месяца, проведенные с черной «бабусей» еще в 1896 году<sup>25</sup>, отразились на строчках первых, детских стихов: появились в них лебеди, луны, появился кривогубый горбун, вышедший из детских книжек; «бабуся» любила ужастики; любила драмы с жутыми семейными убийствами; она бывала в восторге, когда дети, мы, ставили сцены из Шиллера, чтоб заколоться перед родителями, один за другим, с таким азартом, что отец раз воскликнул:

— «Негодная пища для юношей: пять убийств! Мрак! Не весела жизнь, а тут, — здорово живешь, — эдак-так, — пять убийств! Молодым людям приятен Диккенс: забавно-с!..»

Старушка, пав в кресло, десятью пальцами рук с надутыми фиолетовыми и узластыми венами вцепясь в ручки кресла, став мраморной, угрожающе помолчав, — изрекла:

— «Поэзия Шиллера приподымает над прозою жизни!»

После этого мой отец в годах повторял:

— «Большая-с старушка! Глядит в могилу, а — пять убийств!»

Что «пять убийств», — верно, а что «большая», — позвольте-с: пережила отца, прожив почти до восьмидесяти лет; в молодости сражала мужчин, нарожала уйму детей<sup>26</sup>, а прикидывалась «больной», и дрожала из-за самоварика, дрожала из-за розовых иван-чаев, росших перед ее окнами, когда мы проходили под окнами; и согнутым, как крючок, пальчиком манила к себе прочесть нам свою сказочку «Мир в тростинке»<sup>27</sup>, которую читывала и в 1896 году, которую, перечитав в 1905 году и в 1906-м, — читала — о, о, — и в 1908-м и в 1909-м, как бесплатное приложение к землянике со сливками; уписавши ее суповыми тарелками, приходилось отслушивать; оно бы ничего, если б не липкое нравоученье, капавшее из строк: хороши — луны; и хороши — феи; земные девушки и, боже упаси, браки с ними — очень нехорошо: для таких, как мы; для кухаркиных сыновей — хорошо: те — грубы; мы ж — тонки.

Оставшись вдвоем, долго мы обсуждали во флигеле эти сентенции: «старая дева», Карелина покровительствует и романам и бракам; «бабусю» же, нарожавшую столько, тошнит, когда рожают другие; браку предпочитает она даже «падаль» Бодлера, преподносимую Эллисом<sup>28</sup>.

— «Неужели, — все удивлялся я, — падаль и то, чем некогда наслаждалась старушка?»